## Макинтош

Уильям Сомерсет Моэм

Перевод И. Бернштейн

Он немного поплескался в море: слишком мелко, чтобы плавать, но забираться на глубину было опасно из-за акул. Потом вышел на берег и побрел в душевую. Прохлада пресного душа была очень приятна после соленой липкости тихоокеанских волн, таких теплых даже в семь утра, что купание не бодрило, а, наоборот, еще больше размаривало. Вытерся и, надевая махровый халат, крикнул повару-китайцу, что будет к завтраку через пять минут. По полосе жесткой травы, которую Уокер, администратор, гордо считал газоном, он прошел босиком в свое бунгало одеваться. Оделся он быстро — весь его костюм состоял из рубашки и парусиновых брюк — и перешел через двор в дом начальника. Они обычно ели вместе, но повар сказал, что Уокер уехал верхом в пять утра и вернется не раньше, чем еще через час.

Макинтош спал скверно и с отвращением посмотрел на поставленные перед ним папайю и яичницу с грудинкой. Москиты в ту ночь совсем осатанели. Они тучами летали за сеткой, под которой он спал, их безжалостное, грозное гудение сливалось в одну протяжную, нескончаемую ноту, словно где-то звучал отдаленный орган — и только задремлешь на минутку, как тут же, вздрогнув, просыпаешься в совершенной уверенности, что хоть один из их воинства да проник под полог. Было так жарко, что он лежал совсем голый. Ворочался с боку на бок. И мало-помалу глухое биение прибоя на рифе, такое неумолчно-монотонное, что обычно его не замечаешь, проникло в его сознание, забарабанило по измученным нервам, и он судорожно сжал кулаки, терпя из последних сил. Мысль, что нет никакой возможности оборвать эти звуки, что они так и будут повторяться и повторяться до скончания века, была мучительна и будила в нем сумасшедшее желание вскочить и помериться силой с беспощадной стихией. Казалось, еще немного, и он утратит власть над собой, сойдет с ума! И теперь, глядя из окна на лагуну и белую полосу пены на рифе, он содрогнулся от ненависти к этому ослепительному солнечному пейзажу. А безоблачное небо было как опрокинутая, придавившая его чаша. Макинтош закурил трубку и начал перебирать пачку оклендских газет, привезенных из Апии несколько дней назад. Самая свежая была трехнедельной давности. От них веяло несказанной скукой.

Потом он прошел в канцелярию. Это была большая пустая комната с двумя письменными столами и скамьей у стены. На скамье сидело несколько туземцев — среди них две-три женщины. В ожидании администратора они болтали, а когда вошел Макинтош, поздоровались с ним:

— Талофа-ли!

Он поздоровался в ответ, сел за свой стол и принялся работать над отчетом, который настойчиво требовал губернатор Самоа, а Уокер, как обычно оттягивая время, до сих пор не позаботился приготовить. Макинтош писал и мстительно думал, что Уокер запоздал с отчетом из-за своей малограмотности: у него перо и бумага вызывают непреодолимое отвращение; а вот теперь, когда доклад наконец готов, сжатый, четкий, официальный, он заберет труд своего подчиненного, не сказав ни слова похвалы, даже наоборот, еще сострит как-нибудь и посмеется и отправит вверх по инстанциям как собственное произведение. А ведь сам двух слов связать не умеет. Макинтош со злобой подумал, что всякая карандашная вставка шефа заведомо будет по-детски наивно и плохо сформулированной. А если он возразит или захочет сделать ее вразумительной, Уокер разъярится и будет кричать: «Черта ли мне в грамматике? Я хочу, чтоб было сказано именно это и именно так!»

Наконец явился Уокер. Туземцы сразу окружили его, стараясь завладеть его вниманием, но он грубо оборвал их и велел сидеть и помалкивать, не то, если будет шум, он выставит их за дверь и сегодня не примет.

— А, Мак! — кивнул он Макинтошу. — Проспались наконец? Не понимаю, чего вы валяетесь в постели чуть не целый день! Вставали бы до света, как я. Лежебока!

Он тяжело плюхнулся в кресло и утер лоб большим пестрым платком.

— Пить хочется, черт подери!

Он обернулся к полицейскому, который стоял у дверей — эдакая живописная персона в белой куртке и лава-лава1, — и приказал подать каву. Чаша с кавой стояла в углу канцелярии. Полицейский зачерпнул половинку скорлупы кокосового ореха и подал Уокеру. Тот брызнул несколько капель на пол, пробормотал требуемое обычаем приветствие присутствующим и жадно осушил скорлупу. Потом велел полицейскому напоить туземцев, и каждый с теми же церемониями напился из скорлупы — по порядку, определяемому возрастом или занимаемым положением.

Только тогда Уокер приступил к делу. Он был заметно ниже среднего роста, просто коротышка, и поражал неимоверной толщиной. Крупное мясистое бритое лицо подпирал огромный тройной подбородок, щеки обвисали по сторонам тяжелыми складками; небольшой нос и глаза тонули в сале, и, если не считать полумесяца седых волос на затылке, совершенно голая лысая голова. Что-то вроде мистера Пиквика, нелепая, гротескная фигура — и все же, как ни странно, в нем было свое достоинство. Голубые глазки за большими очками в золотой оправе смотрели проницательно и весело, а в выражении лица было несокрушимое упорство. Ему уже исполнилось шестьдесят, но природное жизнелюбие не поддавалось натиску возраста. Несмотря на толщину, двигался он быстро, а ступал тяжело и решительно, словно хотел оставить на земле отпечатки своих шагов. Голос у него был громкий и грубый.

С тех пор как Макинтош получил назначение на должность его помощника, прошло уже два года. Уокер, который четверть века занимал пост администратора Талуа, одного из относительно крупных островов архипелага Самоа, был широко известен лично или хотя бы по рассказам в Южных морях, и Макинтош с живым любопытством предвкушал встречу с ним. Перед тем как отправиться на Талуа, он по какой-то причине недели на две задержался в Апии и в гостинице Чаплина и в Английском клубе успел наслушаться бесчисленных историй про своего будущего начальника. Теперь он с горечью вспоминал о том, какими интересными они ему поначалу показались. С тех пор он их сто раз слышал от самого Уокера. Уокер знал, что он — легендарная личность, дорожил своей славой и сознательно ей подыгрывал. Он ревниво следил за тем, чтобы анекдоты, которые о нем передавались, были точны во всех подробностях. И смешно сердился, если слышал, что какой-нибудь рассказчик их перевирает.

Сначала Макинтошу нравилось грубоватое добродушие Уокера, а тот, радуясь свежему слушателю, показывал себя с самой лучшей стороны: был весел, сердечен, внимателен. Макинтош до тридцати четырех лет вел тепличное существование лондонского чиновника, пока воспаление легких, грозившее в дальнейшем туберкулезом, не вынудило его просить перевода на острова Тихого океана, и жизнь Уокера показалась ему необыкновенно романтичной. Характерно было уже первое приключение, с которого тот начал подчинять себе обстоятельства. В пятнадцать лет он сбежал из дому в море и больше года шуровал уголь на угольщике. Был он заморышем, и матросы, да и помощники капитана его жалели, но сам капитан по какой-то причине терпеть его не мог. Он бил, пинал и гонял мальчика с такой жестокостью, что бедняга часто от боли не мог спать по ночам. Капитана он ненавидел всеми силами души. А потом кто-то подсказал ему лошадь на скачках, и он умудрился занять двадцать пять фунтов у одного знакомого в Белфасте. Лошадь, на которую он поставил, была аутсайдером, и в случае проигрыша ему неоткуда было бы взять деньги для уплаты долга, но ему и в голову не приходило, что он может проиграть. Он был уверен в удаче. Лошадь пришла первой, и он получил более тысячи фунтов наличными. Тут настал его час. Он навел справки, какой нотариус считается в городе лучшим — угольщик стоял тогда у берегов Ирландии, — явился к нему, сказал, что, по его сведениям, судно это продается, и поручил нотариусу осуществить покупку. Нотариус нашел занятным такого юного клиента — Уокеру было шестнадцать, а на вид и того меньше — и, возможно, из симпатии, пообещал все устроить, да еще и наивыгоднейшим образом. И вскоре Уокер стал судовладельцем. Он отправился на угольщик и пережил, по его собственным словам, самую чудесную минуту в своей жизни, объявив шкиперу, что тот уволен и пусть убирается с его судна не позже, чем через полчаса. Шкипером он назначил помощника и плавал на угольщике еще девять месяцев, а потом продал его с прибылью.

Он приехал на острова в двадцать шесть лет, чтобы стать плантатором. Обосновался на Талуа еще в то время, когда остров входил во владения Германии и белых там почти не было. Уже тогда он пользовался среди туземцев некоторым влиянием. Немцы сделали его администратором, и он занимал этот пост двадцать лет, а когда остров захватили англичане, должность за ним оставили. Правил он островом деспотично, но вполне успешно. И слава его как управителя тоже вызывала у Макинтоша интерес.

Но они не были созданы друг для друга. Макинтош был некрасивый, тощий мужчина, высокий, с впалой грудью, сутулыми плечами и неуклюжими дергаными движениями. Большие глаза на землистом лице с запавшими щеками смотрели угрюмо. Он питал страсть к чтению, и когда прибыли его книги, Уокер зашел поглядеть на них. Потом с хриплым смешком спросил:

— На кой черт вы приволокли сюда весь этот мусор?

Макинтош багрово покраснел.

— Очень сожалею, что по-вашему это мусор. Свои книги я привез для чтения.

— Когда вы сказали, что к вам должны прийти книги, я-то думал: будет мне что почитать. У вас что, нет никаких детективов?

— Детективные романы меня не интересуют.

— Ну и дурак вы после этого.

— Можете считать и так, если вам угодно.

С каждой почтой Уокер получал массу всякой периодики — газеты из Новой Зеландии, журналы из Америки, и его злило пренебрежение Макинтоша к этим эфемерным изданиям. А книги, которым Макинтош отдавал досуг, его раздражали, он считал, что читать «Упадок и разрушение Римской империи» Гиббона или бертоновскую «Анатомию меланхолии» — одно позерство. А так как держать язык на привязи он был не обучен, то свое мнение высказывал не стесняясь. Макинтош постепенно начинал видеть его в истинном свете и под шумным добродушием обнаружил плебейскую хитрость, которая была ему отвратительна. Уокер оказался хвастлив и нахален, но при всем том еще в глубине души как-то странно робок и оттого питал вражду к людям не своего пошиба. О других он простодушно судил по манере выражаться и если не слышал божбы и грязных ругательств, составлявших значительную часть его собственного лексикона, то глядел на собеседника с подозрением. По вечерам они вдвоем играли в пикет. Уокер играл плохо, но заносился ужасно, выигрывая, глумился над противником, а если проигрывал, выходил из себя. В тех редких случаях, когда к ним заезжали двое-трое плантаторов или торговцев, чтобы составить партию в бридж, Уокер, по мнению Макинтоша, показывал себя во всей красе. Не обращал внимания на партнера, всегда торговался за прикуп, чтобы непременно играть самому, и без конца спорил, перекрикивая все возражения. Чуть что, брал ход обратно и при этом жалобно приговаривал: «Вы уж простите старику, глаза у меня совсем плохи стали». Понимал ли он, что партнеры предпочитают не навлекать на себя его гнев и сто раз подумают, прежде чем требовать строгого соблюдения правил? Макинтош следил за ним с ледяным презрением. После бриджа они закуривали трубки и, попивая виски, делились друг с другом сплетнями и воспоминаниями. Уокер особенно смачно рассказывал историю своей женитьбы: на свадьбе он так напился, что новобрачная сбежала, и больше он ее никогда не видел. У него было множество приключений с туземками, пошлых и грязных, но он описывал их, безумно гордясь своей лихостью, и оскорблял щепетильный слух Макинтоша. Грубый и похотливый старик, он считал Макинтоша слюнтяем за то, что Макинтош не принимает участия в его амурных похождениях и сидит трезвый в пьяной компании.

Презирал он Макинтоша и за педантичность в исполнении служебных обязанностей. Макинтош любил во всем строгий порядок. Его письменный стол всегда выглядел аккуратно, документы были разложены по местам, чтобы сразу можно было достать, что понадобится, и он знал назубок все правила и инструкции, которыми регулировалось управление островом.

— Чушь собачья, — говорил Уокер. — Я двадцать лет управлял безо всякой канцелярщины и дальше буду.

— Разве вам легче от того, что приходится битый час разыскивать какое-нибудь письмо? — отвечал Макинтош.

— Бюрократ вы чертов. Хотя вообще-то неплохой парень. Поживете тут годик-другой — исправитесь. Ваша беда, что вы не пьете. Напивались бы раз в неделю, так совсем бы человеком были.

Любопытно, что Уокер совершенно не догадывался о неприязни, которая из месяца в месяц зрела в душе его подчиненного. Сам он хотя и смеялся над Макинтошем, но, постепенно привыкнув, почти полюбил его. Он вообще относился к чужим слабостям довольно терпимо и скоро успокоился на том, что Макинтош — безобидный чудак. А может быть, он в глубине души потому и питал к нему нежность, что мог сколько угодно над ним потешаться. Ему нужна была мишень для грубых шуток, в которых выражалось его чувство юмора. А тут все: и дотошность помощника, и его нравственные правила, и трезвые привычки — давало повод для издевки. И сама его шотландская фамилия служила отличным предлогом, чтобы лишний раз припомнить какой-нибудь избитый шотландский анекдот. Уокер прямо-таки упивался, когда приезжали гости и можно было потешать их, высмеивая Макинтоша. Он наплел про него какие-то небылицы туземцам, и Макинтош, еще не вполне владевший самоанским языком, только видел, что они покатываются со смеху в ответ на непристойности, которые слышат от Уокера. Макинтош добродушно улыбался.

— Очко в вашу пользу, Мак! — громко басил Уокер. — Вы не обижаетесь на шутки.

— А это была шутка? — улыбался Макинтош. — Я не понял.

— Одно слово — шотландец! — вопил Уокер и гулко хохотал. — Чтобы шотландец углядел шутку, его прежде прооперировать надо.

Уокер и не подозревал, что Макинтош не выносил, когда над ним смеялись. Он просыпался среди ночи — среди душной, влажной ночи в сезон дождей — и мучительно, угрюмо переживал заново насмешливое замечание, которое походя обронил Уокер неделю назад. Оно жгло его, переполняло его яростью, и он лежал и придумывал способы, как посчитаться с обидчиком. Сначала он пробовал отвечать ему тем же, но Уокер в карман за словом не лез и тут же отшучивался плоско и банально, всегда выходя победителем. Тупость делала его неуязвимым для тонких насмешек, самодовольство служило непробиваемым щитом. Громкий голос, гулкий смех были оружием, которому Макинтош не мог ничего противопоставить, и он на горьком опыте убедился, что лучше всего ничем не выдавать своего раздражения. Он научился сдерживаться. Но его ненависть все росла и росла, пока не превратилась в настоящую манию. Он следил за Уокером с бдительностью безумца. Он тешил свое больное самолюбие, замечая каждую подлость Уокера, каждое проявление его детского тщеславия, хитрости, вульгарности. Уокер некрасиво ел, жадно и громко чавкал, и Макинтош наблюдал за ним с тайным злорадством. Он упивался каждой глупостью, сказанной Уокером, каждой грамматической ошибкой в его речи. Он знал, что Уокер считает его ничтожеством, и находил в этом горькое презрительное удовлетворение, — чего же еще ждать от этого узколобого самодовольного старика? И особенно его тешило, что Уокер даже понятия не имеет о том, как помощник его ненавидит. Уокер — глупец, любящий, чтобы к нему хорошо относились, вот он и воображает, будто все им восхищаются. Однажды Макинтош услышал, как Уокер говорил про него:

— Он будет молодцом, когда я его хорошенько выдрессирую. Он умный пес и любит своего хозяина.

И над этим Макинтош беззвучно и долго смеялся, не дрогнув ни единым мускулом своего длинного землисто-бледного лица.

Однако ненависть его не была слепой, наоборот, она отличалась необыкновенной проницательностью, и заслуги Уокера Макинтош оценивал вполне точно. Уокер умело правил своим маленьким царством. Был честен и справедлив. Хотя он имел много возможностей быстрой наживы, он не только не разбогател с тех пор, как занял свой пост, но даже стал заметно беднее и в старости мог рассчитывать только на казенную пенсию, которую должен был получить, уйдя на покой. Главной его гордостью было то, что он с одним помощником и клерком-полукровкой ведет дела куда эффективнее, нежели целая армия чиновников на Уполу — острове, где находится главный город архипелага, Апия2. Для поддержания власти в его распоряжении было несколько туземных полицейских, но он никогда не прибегал к их помощи, а обходился одним только нахальством и ирландским юмором.

— Вот требовали, чтобы я построил тут тюрьму. А на кой черт мне тюрьма? Стану я запирать туземцев в тюрьму, как же! Если они что-нибудь натворят, я и так с ними управлюсь.

Главное расхождение с властями в Апии у него было по вопросу о том, имеет ли он абсолютную юрисдикцию над жителями своего острова. Какие бы преступления они ни совершили, он упорно отказывался предать их соответствующим судебным инстанциям, и не раз между ним и губернатором затевалась в связи с этим желчная переписка. Просто он считал туземцев своими детьми. Как ни странно, но этот грубый, вульгарный эгоист горячо любил остров, на котором так долго прожил, и относился к его жителям с суровой нежностью, поистине удивительной.

Он любил разъезжать по острову на старой серой кобыле, и красота вокруг ему никогда не приедалась. Труся по травянистой тропе между кокосовыми пальмами, он время от времени останавливался полюбоваться пейзажем. Потом сворачивал в туземную деревушку, и староста подавал ему чашу с кавой. А он обводил глазами тесно столпившиеся колоколоподобные хижины с островерхими тростниковыми крышами — ну совсем как ульи на пасеке! — и его жирное лицо расплывалось в улыбке. Зеленые сени хлебных деревьев веселили ему душу.

— Эх, черт! Ну прямо райский сад.

Иногда он поворачивал кобылу к морю и ехал вдоль берега, а между древесными стволами сверкали солнечные воды, и ни единого паруса на пустынном океанском просторе; а иногда поднимался на холм, и его взгляду открывались широкие долины и приютившиеся среди высоких деревьев деревушки — весь мир земной, и так он сидел чуть не час, и душа его замирала от восторга. Но у него не было слов для выражения таких чувств, и, чтобы дать им выход, он отпускал непристойную шутку. Словно не в силах выдержать напряжения, он искал разрядку в грубости.

У Макинтоша его восторги вызывали ледяную брезгливость. Уокер всегда много пил, он любил, вернувшись в очередной раз из Апии, похвастать, как отправил под стол собутыльника вдвое моложе себя, и, по обычаю всех пьяниц, был слезлив и сентиментален. Плакал над журнальными рассказами, но спокойно мог отказать в займе попавшему в беду торговцу, с которым был знаком двадцать лет. Свои деньги он берег.

Как-то Макинтош сказал ему:

— Да, вас не упрекнешь, что вы сорите деньгами.

А Уокер принял это за комплимент. Конечно, его восхищение природой было лишь слезливой чувствительностью пьяницы. Не трогало Макинтоша и отношение начальника к туземцам. Он любил их потому, что они были в его власти — так эгоист любит свою собаку, — и по умственному уровню нисколько их не превосходил. Их юмор был примитивен и груб, и у него тоже всегда была наготове грязная шутка. Он понимал их, а они понимали его. Он гордился своим влиянием на них, смотрел на них как на собственных детей и вмешивался во все их дела. Но к своей власти Уокер относился очень ревниво: сам пас их жезлом железным и не терпел возражений, однако другим белым на острове не давал их в обиду. С особой бдительностью он следил за миссионерами3: стоило им чем-то заслужить его неодобрение, и он превращал их жизнь в такой ад, что они бывали рады сами убраться, даже если он не мог добиться их перевода. Туземцы подчинялись ему безоговорочно и по одному его слову отказывали своему пастырю в пище и услугах. Не потакал он и торговцам, заботливо следя за тем, чтобы они не обманывали туземцев, чтобы туземцы получали справедливое вознаграждение за свой труд и свою копру, а торговцы не извлекали непомерной прибыли, сбывая им товары. Он беспощадно пресекал сделки, которые считал нечестными. Иногда торговцы жаловались в Апии, что их притесняют. Но им же было от этого хуже. Уокер не брезговал никакой клеветой, никакой самой возмутительной ложью, лишь бы посчитаться с ними, и они убеждались, что должны принимать его условия, если желают сносно жить или хотя бы просто существовать. Не раз случалось, что у неугодного ему торговца сгорал дотла склад с товарами, и лишь своевременность этого несчастья свидетельствовала о том, что администратор приложил к нему руку. Однажды торговец-метис, полушвед, полусамоанец, разоренный пожаром, явился к нему и без обиняков обвинил его в поджоге. Уокер расхохотался ему в лицо:

— Паршивый пес! Твоя мать была туземка, а ты обманываешь туземцев. Если твоя грязная лавчонка сгорела, так это кара Божья. Вот-вот: кара Божья. А теперь убирайся отсюда.

Двое туземных полицейских вытолкали торговца, а администратор жирно смеялся ему вслед:

— Кара Божья!

И вот теперь Макинтош смотрел, как Уокер приступает к делам. Начал он с больных, потому что вдобавок ко всему занимался также врачеванием и в комнатушке за канцелярией держал настоящую аптеку. Вперед вышел пожилой мужчина в голубой набедренной повязке, на голове у него топорщилась шапка седых курчавых волос, а испещренная татуировкой кожа была вся сморщенная, как пустой бурдюк.

— Ты зачем явился? — резко спросил Уокер.

Мужчина стал жалобно бормотать, что его рвет после каждой еды и у него болит вот тут, тут и тут.

— Иди к миссионерам, — сказал Уокер. — Ты ведь знаешь, что я лечу только детей.

— Я ходил к миссионерам, и они мне ничем не помогли.

— Тогда отправляйся домой и готовься к смерти. Столько на свете прожил и все еще жить хочешь? Дурак ты, дурак.

Больной заспорил было, но Уокер указал пальцем на женщину с больным ребенком на руках и велел ей подойти к столу. Он задал ей несколько вопросов, посмотрел на ребенка.

— Я дам тебе лекарство, — сказал он и обратился к клерку-метису. — Сходи в аптеку, принеси каломелевых пилюль.

Он заставил ребенка тут же проглотить одну пилюлю, а вторую дал матери.

— Иди и держи малого в тепле. Завтра он либо помрет, либо ему полегчает.

Уокер откинулся на спинку кресла и закурил трубку.

— Живительная штука — каломель. Я этим снадобьем спас больше больных, чем все лекари в Апии вместе взятые.

Уокер очень гордился своим искусством и с решительностью невежды презирал всех медиков на свете.

— Я что люблю? — рассуждал он. — Чтобы от больного все врачи отказались. Когда врачи говорят, что не могут тебя вылечить, я скажу: «А теперь иди ко мне». Я вам когда-нибудь рассказывал про больного раком?

— Неоднократно, — ответил Макинтош.

— Я его поставил на ноги за три месяца.

— Вы мне никогда не рассказывали про тех, кого не сумели вылечить.

Покончив с врачеванием, Уокер занялся остальными делами. Это была на редкость причудливая смесь. То женщина жаловалась, что не ладит с мужем, то мужчина был обижен, что от него убежала жена.

— Счастливчик! — сказал ему Уокер. — Да тебе каждый женатый позавидует.

Одни долго и запутанно спорили, кому принадлежит крохотный клочок земли, другие не могли поделить улов рыбы. Кто-то жаловался, что белый торговец обвешивает и обмеривает. Уокер внимательно выслушивал всех до единого, быстро принимал и объявлял решение. После этого он уже ничего не слушал, а если жалобщик не унимался, полицейский выводил его из канцелярии. Макинтош наблюдал за происходящим и злился. В целом нельзя было не признать, что тут творилось пусть варварское, но правосудие, однако помощника раздражало, что начальник полагается на свое чутье, а не на факты. Он не принимал во внимание никаких доводов, свидетелями помыкал как хотел, а если они показывали не то, что ему от них было нужно, обзывал их ворами и лгунами.

Напоследок Уокер оставил мужчин, сидевших кучкой в углу. До сих пор он ни разу не взглянул в их сторону. Группа состояла из старого вождя, высокого, благообразного, с короткими седыми волосами, в новой лава-лава и с пестрой метелкой на палке — знаком сана — в руке, его сына и пяти-шести влиятельнейших жителей деревни. Они поссорились с Уокером, и верх одержал он. Теперь он по своей привычке намерен был покуражиться над ними вволю, а заодно и извлечь для себя выгоду из их поражения. История эта была очень своеобразной. Уокер любил строить дороги. Когда он приехал на Талуа, по острову лишь кое-где петляли узкие тропки, но со временем он проложил настоящие дороги от деревни к деревне, и своим благосостоянием остров в значительной степени был обязан именно им. Если прежде было невозможно доставить туземные товары — в основном копру — на берег, чтобы погрузить на шхуны или моторные катера для перевозки в Апию, то теперь это стало проще простого. Заветным желанием Уокера было построить дорогу по берегу вокруг всего острова, и значительная часть ее была уже готова.

— Через два года я ее докончу, и тогда хоть помирать, хоть в отставку — все равно.

Он надышаться не мог на свои дороги и постоянно объезжал их, проверяя, в порядке ли они содержатся. Дороги были очень примитивны — просто широкие, поросшие травой проселки, которые прокладывались через дикие заросли и плантации. Но приходилось выкорчевывать пни, выкапывать или взрывать каменные глыбы, а в некоторых местах срезать пригорки и засыпать ложбины. Он гордился, что своими силами справлялся со всеми трудностями. Хвастал тем, как удачно выбирал для дороги место — и для дела удобно, и можно любоваться красотами острова, которые были так милы его сердцу. О дорогах он говорил почти как поэт. Они проходили среди очаровательных пейзажей, и Уокер позаботился, чтобы в одних местах они тянулись прямыми зелеными аллеями с высокими деревьями по сторонам, а в других вились и петляли, радуя глаз разнообразием. Поразительно, с какой тонкой находчивостью этот грубый чувственный человек добивался эффекта, подсказанного ему фантазией. Он проявлял чудеса изобретательности, не хуже прославленных японских садовников. Начальство выдало ему субсидию, но гордый Уокер ее почти совсем не трогал, за весь прошлый год истратив из тысячи только сто фунтов.

— А на что им деньги? — гремел он. — Накупят какой-нибудь никому не нужной дряни, и все. Да еще миссионеры сначала заберут львиную долю.

Безо всякой на то причины, разве что из желания показать всем, какой он рачительный хозяин, не то что эти транжиры в Апии, он заставлял туземцев проводить все работы за почти символическую плату. Из-за этого у него и вышел спор с жителями деревни, старейшины которой явились теперь к нему на прием. Сын вождя прожил год на Уполу и, вернувшись, рассказал односельчанам о тех больших суммах, которые платят в Апии за общественные работы. Долгими досужими беседами он сумел разжечь в их сердцах алчность. Рисовал перед ними картины сказочных богатств, и им уже грезилось виски, которого они могли бы тогда накупить — виски стоило дорого, закон запрещал продавать его туземцам, и они платили за него вдвое больше белых, — грезились сандаловые сундучки для хранения сокровищ, и душистое мыло, и консервированная лососина — словом, все те предметы роскоши, за которые канак4 готов продать душу. И потому, когда администратор послал за ними и объявил, что они должны проложить дорогу от своей деревни до такого-то места, за что получат двадцать фунтов, они запросили сто. Сына вождя звали Манума. Это был высокий меднокожий красавец, с рыжей, высветленной известью шевелюрой, шею его обвивала гирлянда из красных ягод, а за ухом, точно язык пламени у смуглой щеки, алел цветок. Манума был обнажен до пояса, но лава-лава заменил на парусиновые брюки в знак того, что жил в Апии и уже больше не дикарь. Он сказал, что они должны стоять друг за друга и администратор уступит. Ведь он очень хочет, чтобы дорога была построена, и когда убедится, что за меньшую плату они работать не согласны, даст им столько, сколько они попросили. Надо только держаться твердо. Что бы он ни говорил, стоять на своем — сказали, сто фунтов, вот пусть сто фунтов и дает. Уокер, услышав эту цифру, разразился своим утробным хохотом. И сказал, чтобы они бросили валять дурака, а поскорее брались бы за работу. Он сегодня добрый и обещает устроить им праздник, после того как дорога будет готова. Когда выяснилось, что они и не думают приступать к работе, он отправился в деревню и спросил, что это за дурацкие шутки. Но Манума их хорошо подготовил. Они говорили очень спокойно и не вступали в спор, хотя канаки обожают спорить; они просто пожали плечами: они построят дорогу за сто фунтов, а если он им не даст этих денег, они работать не будут. Пусть сам решает. А им все равно. Тут Уокер пришел в ярость. Выглядел он страшно. Короткая толстая шея угрожающе вздулась, красное лицо полиловело, на губах выступила пена. На туземцев обрушились громы и молнии. Уязвить и унизить — это он умел. И запугать тоже. Старики побледнели и оробели. Они готовы были дрогнуть. Если бы не Манума с его вестями из широкого мира и если бы не их страх перед его насмешками, они бы уступили. Уокеру ответил Манума:

— Заплати нам сто фунтов, и мы будем работать.

Уокер, потрясая кулаками, осыпал его всеми ругательствами, какие только знал. Он испепелил его презрением. Манума сидел, не шевелясь, и улыбался. Возможно, в этой улыбке было больше бравады, чем уверенности, но он должен был показать пример остальным. Он повторил:

— Заплати нам сто фунтов, и мы будем работать.

Они уж было думали, что сейчас Уокер набросится на него: администратору не раз случалось собственноручно избивать туземцев. Они знали, как он силен, и, хотя он был втрое старше Манумы и на шесть дюймов ниже ростом, никто не сомневался, что Мануме несдобровать. Да и кому бы в голову пришло сопротивляться его бешеному наскоку? Но Уокер только произнес с усмешкой:

— Терять время на разговоры с дураками я не стану. Обсудите между собой. Вы знаете, что я предложил. Если в течение недели вы не начнете работать, пеняйте на себя.

Повернулся, вышел из хижины вождя, отвязал старую кобылу. И встал на удобный камень, чтобы взгромоздиться в седло, а один из стариков повис на другом стремени — поступок, наглядно характеризующий его отношения с туземцами.

В тот же вечер, когда Уокер, как обычно, прогуливался по дороге за своим домом, вдруг над ухом у него что-то просвистело и ударилось в ствол дерева. В него чем-то метнули. Он машинально пригнулся, но потом с криком: «Кто тут?» — кинулся туда, где должен был находиться метатель, и услышал затихающий треск в кустах. Он понимал, что в темноте погоня бессмысленна, и, вскоре запыхавшись, остановился. Вернувшись на дорогу, он поискал то, что было брошено, но в непроглядном мраке ничего не нашел. Поспешно вернувшись в дом, он позвал Макинтоша и слугу-китайца.

— Кто-то из этих чертей запустил в меня чем-то. Идемте поищем, что это было.

Он велел слуге взять фонарь, и они втроем вернулись на место происшествия. Осмотрели землю вокруг, но ничего не обнаружили. Внезапно китаец гортанно вскрикнул. Они обернулись, и в луче света, пронзившем темноту, в стволе кокосовой пальмы зловеще блеснул длинный нож. Брошен он был с такой силой, что его не сразу удалось выдернуть.

— Черт! Не промажь он, хорош бы я сейчас был.

Уокер взял нож — он был сделан по образцу тех матросских ножей, которые появились на островах столетие назад с первыми белыми; теперь ножами разрубали пополам кокосовые орехи, чтобы сушить копру, — смертоносное оружие с очень острым двенадцатидюймовым лезвием. Уокер хмыкнул.

— Ну дьявол! Ну и нахальный же дьявол!

Он не сомневался, что нож метнул Манума. Еще каких-то три дюйма, и ему был бы конец. Но он не рассердился, а, наоборот, пришел в самое лучшее расположение духа. Это происшествие взбодрило его, и, едва войдя в дом, он крикнул, чтобы подали виски.

— Они у меня за это заплатят! — сказал он, злорадно потирая руки.

Его маленькие глазки весело блестели. Напыжившись, как индюк, он принялся во второй раз за полчаса со всеми подробностями излагать Макинтошу обстоятельства дела. Потом предложил перекинуться в пикет и за игрой хвастливо описывал, что намерен теперь предпринять. Макинтош слушал, крепко поджав губы.

— Но почему вы так их прижимаете? — спросил он. — Двадцать фунтов — это не плата за работу, которую вы им поручаете.

— Пусть и за это будут благодарны.

— Но, черт возьми, это же не ваши деньги! Начальство выделяет вам достаточную сумму, и никто не будет в претензии, если вы ее истратите.

— Они в Апии все сплошь дураки.

Макинтош понял, что Уокером движет одно лишь тщеславие, и пожал плечами.

— Какой вам толк, если вы утрете нос чиновникам в Апии, а сами заплатите за это жизнью?

— Господь с вами! Да здешние люди никогда на меня руки не подымут. Я им вот как нужен. Они на меня просто молятся. Манума дурак. И нож-то бросил, просто чтобы меня попугать.

На следующий день Уокер снова поехал в ту деревню. Она называлась Матауту. Спешиваться он не стал. Подъехав к хижине вождя, он увидел, что мужчины, усевшись кружком на полу, заняты оживленным разговором, и догадался, что они снова обсуждают вопрос о дороге.

Самоанские хижины строятся следующим образом: тонкие стволы размещаются по кругу через промежутки в пять-шесть футов, а в центре вкапывается столб, и от него круто вниз настилается кровля. Ночью или во время дождя опускаются циновки из листьев кокосовой пальмы. Но обычно хижина открыта со всех сторон, чтобы ее свободно продувало ветром. Уокер остановил кобылу у самой хижины и крикнул вождю:

— Эй, Тангату! Твой сын вчера ночью оставил нож в дереве. Я привез его тебе.

Он швырнул нож на землю между сидящими и с хохотом затрусил прочь.

В понедельник он поехал проверить, начали ли они работать. Но никаких приготовлений не обнаружил и отправился в деревню. Ее обитатели занимались обычными делами: кто-то плел циновки из листьев пандануса, старик выскребывал чашу для кавы, дети играли, женщины занимались стряпней. Уокер, улыбаясь, остановился у хижины вождя.

— Талофа-ли, — сказал вождь.

— Талофа, — ответил Уокер.

Манума плел сеть. Изо рта у него торчала сигарета, и он поглядел на Уокера с торжествующей улыбкой.

— Значит, вы решили дороги не строить?

Вождь ответил:

— Да, если вы не заплатите нам сто фунтов.

— Вы еще пожалеете. — Он повернулся к Мануме. — А у тебя, парень, как бы спина не разболелась, и очень скоро.

Он, посмеиваясь, уехал, а туземцев разобрал страх. Они боялись этого толстого старого грешника, и ни брань, которой его осыпали миссионеры, ни презрение, которому Манума научился в Апии, никак не могли разуверить их в том, что он наделен дьявольской хитростью и что все до единого, кто отваживался ему перечить, рано или поздно за это поплатились. Не прошло и суток, как они узнали, какую уловку он изобрел теперь. Она была вполне в его духе. На следующий день в деревню явилась толпа мужчин, женщин и детей, и их старейшины объяснили, что подрядились строить дорогу. Уокер предложил им двадцать фунтов, и они согласились. Хитрость же заключалась в том, что правила гостеприимства у полинезийцев имеют силу священного закона, и нерушимый этикет требовал, чтобы жители деревни не только предоставили гостям кров, но также кормили и поили их все время, пока те пожелают оставаться у них. Обитатели Матауту попали в ловушку. Каждое утро рабочие веселой толпой отправлялись на строительство: валили деревья, взрывали скалы, выравнивали, где требовалось, полотно, а вечером наводняли деревню, ели и пили — ели так, что за ушами трещало, танцевали, пели духовные гимны и вообще вовсю наслаждались жизнью. Для них это был долгий веселый пикник. Но лица их хозяев постепенно вытягивались. Гости оказались с хорошим аппетитом и ненасытно уничтожали бананы и плоды хлебного дерева; не осталось на ветках ни единого авокадо, а ведь в Апии за них можно было бы получить немалые деньги. Над деревней нависла угроза полного разорения. И тут выяснилось, что работают гости не торопясь. Может быть, Уокер дал им понять, что особой спешки от них не требуется? При таких темпах, пока построят дорогу, в деревне не останется ни крошки съестного. Хуже того: они стали всеобщим посмешищем. Когда кто-нибудь из жителей Матауту приходил по делам хоть в самое отдаленное селение, выяснялось, что все равно слухи его опередили, и ему навстречу звучал издевательский смех. А для канаков нет ничего страшнее насмешек. Вскоре среди пострадавших поднялся сердитый ропот, Манума перестал быть героем; ему пришлось выслушать немало горьких слов, а затем произошло и то, что напророчил Уокер: ожесточенный спор перешел в ссору, полдесятка молодых людей набросились на сына вождя и так его отделали, что он неделю пролежал на циновках весь в синяках, ворочаясь с боку на бок и не находя облегчения. Каждые день-два на старой кобыле приезжал администратор и смотрел, как продвигается строительство. Он был не из тех, кто противостоит соблазну поиздеваться над поверженным противником и упустит случай лишний раз напомнить ему о всей глубине его унижения. Он сломил дух жителей Матауту. И как-то утром, спрятав гордость в карман (это чистая фигура речи, так как карманов у них не было), они вместе с гостями отправились на строительство. Дорогу необходимо было докончить как можно скорей, чтобы уберечь хотя бы остатки съестных припасов, и потому в работе приняла участие вся деревня. Но работали они молча, затаив в сердцах ярость и обиду — даже дети трудились и молчали. Женщины плакали, связывая и унося обрубленные ветки. Когда Уокер это увидел, он так захохотал, что чуть не свалился с седла. Весть о новом повороте событий облетела остров и страшно насмешила всех туземцев. Ну и потеха, как он их в конце концов оставил в дураках, этот хитрый белый старик, которого не удалось еще обойти ни одному самоанцу! И они приходили из самых отдаленных деревень, приходили с женами и детьми, чтобы поглядеть на глупых людей, которые не взяли двадцати фунтов, чтобы построить дорогу, а теперь должны работать даром. Но чем усерднее работали хозяева, тем с большей прохладцей трудились гости. Зачем торопиться, когда они едят на даровщинку хорошую пищу, и чем дольше будут тянуть, тем смешнее выйдет шутка! Кончилось тем, что несчастные жители деревни не выдержали и в то утро пришли просить администратора, чтобы он отослал рабочих домой. Если он это сделает, то они сами достроят дорогу даром. Он одержал полную и безоговорочную победу. Они были поставлены на колени.

Его широкое бритое лицо расплылось от высокомерного самодовольства, и весь он, казалось, раздулся у себя в кресле, как огромная лягушка. В его облике появилось далее что-то зловещее, Макинтош прямо вздрогнул от отвращения.

А Уокер загремел:

— Что я, строю дорогу для себя? Какая, по-вашему, мне от нее польза? Она вам нужна, чтоб было легко ходить и легко носить вашу копру. Я предложил вам заплатить за работу, хотя работали бы вы на себя. Я предложил щедро вам заплатить. А теперь платить будете вы. Я отошлю людей из Мануа домой, если вы достроите дорогу и заплатите двадцать фунтов, которые я им обещал.

Они возмущенно закричали. Попробовали его уговорить. Объясняли, что у них нет таких денег. Но на все их доводы он отвечал грубыми насмешками. И тут раздался бой часов.

— Пора обедать, — сказал он. — Гоните их всех вон.

Тяжело поднявшись с кресла, он вышел из канцелярии. Когда Макинтош последовал за ним, Уокер уже сидел за столом, подвязав салфетку под подбородком и держа в руках нож с вилкой, готовый наброситься на еду, как только повар-китаец поставит перед ним тарелку. Он был в чудесном настроении.

— Здорово я их отделал, — сказал он, когда Макинтош сел. — Теперь у меня с дорогами никаких хлопот не будет.

— Я полагаю, вы пошутили, — ледяным тоном заметил Макинтош.

— Это вы о чем?

— Вы же не заставите их действительно уплатить двадцать фунтов?

— Будьте уверены, еще как заставлю!

— Не знаю, есть ли у вас на это право.

— Ах, не знаете? Да у меня есть право делать на этом острове все, что я захочу.

— По моему мнению, вы и так уже достаточно над ними поиздевались.

Уокер жирно захохотал. Мнение Макинтоша его совершенно не интересовало.

— Когда мне понадобится ваш совет, я у вас его спрошу.

Макинтош побелел. По горькому опыту он знал, что у него лишь один выход — промолчать; он с трудом заставил себя сдержаться, и ему стало дурно. Кусок не лез в горло, и отвратительно было смотреть, как Уокер впихивает мясо в свою широкую пасть. Старик ел очень неряшливо, и сидеть с ним за одним столом было противно. Макинтоша всего передернуло. Ему мучительно хотелось как-то унизить этого толстокожего, жестокого человека. Он отдал бы все на свете, лишь бы увидеть Уокера повергнутым во прах, страдающим так, как он заставлял страдать других. Никогда еще он не испытывал такой брезгливой ненависти к этому грубому тирану.

День тянулся нескончаемо. После обеда Макинтош прилег вздремнуть, но сжигавшая сердце ярость гнала сон. Попытался читать, но буквы плавали перед глазами. Солнце палило нещадно, хотелось, чтобы хлынул дождь. Но он знал, что дождь принес бы не прохладу, а только еще более жаркую влажную духоту. Он был родом из Абердина, и сердце его вдруг защемила тоска по ледяным ветрам, свистящим в гранитных улицах этого города. Здесь на острове он был пленником, узником недвижного океана и своей лютой ненависти к этому мерзкому старику. Он сжал ладонями раскалывающуюся голову. С каким наслаждением он бы его убил. Но он все же одернул себя. Надо чем-то отвлечься, и раз уж не читается, то, пожалуй, можно привести в порядок личные бумаги. Он уже давно собирался этим заняться, но все откладывал и откладывал. Отперев ящик бюро, он достал пачку писем. И увидел там револьвер. Он чуть было не схватил его и не пустил себе пулю в лоб, чтобы вырваться из невыносимых тисков, но отбросил эту мысль, не успев додумать. Заметив, что от сырого воздуха револьвер подернулся ржавчиной, он взял масляную тряпку и начал его протирать. От этого занятия его отвлекло какое-то движение у двери. Он поднял голову и спросил:

— Кто тут?

Прошло несколько секунд, и на пороге показался Манума.

— Что тебе надо?

Сын вождя хмуро молчал. Потом сказал придушенным голосом:

— Мы двадцать фунтов заплатить не можем. У нас нет таких денег.

— А я здесь при чем? — возразил Макинтош. — Ты слышал, что говорил мистер Уокер.

Манума начал упрашивать, мешая самоанские слова с английскими, говоря нараспев дрожащим жалобным голосом, будто нищий, и Макинтош почувствовал гадливость. Его возмущало, что человек позволил так себя раздавить. Какое жалкое зрелище!

— Я ничего не могу сделать, — раздраженно сказал он. — Ты знаешь, что хозяин тут мистер Уокер.

Манума замолчал. Но остался стоять в дверях.

— Я болен, — проговорил он в конце концов. Дайте мне лекарства.

— Что с тобой?

— Не знаю. Болен. У меня колотье в теле.

— Не стой там, — резко сказал Макинтош. — Подойди, я тебя осмотрю.

Манума пересек маленькую комнату и остановился у бюро.

— Колет вот тут и вот тут. — Он прижал руку к пояснице, и лицо его страдальчески сморщилось.

И вдруг Макинтош понял, что юноша смотрит на револьвер, который он отложил, услышав шум на пороге. Обоих сковало молчание, которое Макинтошу показалось бесконечным. Он словно читал мысли канака. И сердце у него при этом бешено стучало. Внезапно он почувствовал, что находится во власти какой-то посторонней силы. Не он сам, но она теперь управляла его движениями, неведомая и чужая. В горле у него пересохло, он машинально прижал ладонь к груди, словно помогая своему голосу, и почему-то, сам того не желая, отвел глаза от Манумы.

— Подожди тут, — с трудом произнес он, будто его душили. — Я принесу тебе чего-нибудь из аптеки.

Он встал. Показалось ему или его и вправду пошатывает? Манума стоял молча, и Макинтош не глядя знал, что тот тупо смотрит в открытую дверь. Из комнаты Макинтоша увела все та же владевшая им чужая сила, но сам он, по своей воле, успел схватить какие-то бумаги и бросить на револьвер, чтобы не было видно. Он добрел до аптеки, взял одну пилюлю, отлил в пузырек синеватой микстуры и вышел наружу. Возвращаться в бунгало он не хотел и крикнул Мануме:

— Иди сюда.

Он протянул ему лекарства и объяснил, как их принимать.

Почему-то он не мог встретиться с юношей взглядом и, давая наставления, смотрел ему в плечо. Манума взял лекарства и выскользнул за калитку.

Макинтош вошел в столовую и начал в который раз листать старые газеты. Читать он не мог. В доме не было слышно ни звука. Уокер спал в своей комнате наверху. Повар-китаец возился на кухне, оба туземных полицейских отправились ловить рыбу. Тишина, окутавшая дом, ощущалась как что-то потустороннее, а в голове у Макинтоша стучало одно: на месте револьвер или нет? Пойти посмотреть не хватало сил. Неуверенность была страшна, но уверенность могла быть еще страшнее. Он покрылся испариной. Наконец он почувствовал, что выдерживать эту тишину больше не может, и решил сходить к торговцу Джарвису, чья лавка находилась от компаунда на расстоянии всего одной мили. Джарвис был метис5, но все-таки наполовину белый, так что с ним худо-бедно, но можно было разговаривать. Макинтошу надо было уйти от своего бюро, заваленного ворохом бумаг, под которыми кое-что лежит... или не лежит. И он зашагал по дороге. Из красивой хижины вождя, когда он проходил мимо, донеслось обычное приветствие. Макинтош вошел в лавку. За прилавком сидела дочь торговца, смуглая широколицая девица в розовой блузке и белой тиковой юбке. Джарвис надеялся, что он на ней женится. У торговца водились деньги, и он как-то сказал Макинтошу, что муж его дочери будет состоятельным человеком. Увидев Макинтоша, она слегка покраснела.

— Папа распаковывает ящики, которые привезли утром. Я сейчас за ним схожу.

Он сел, а она вышла в заднюю дверь. Почти сразу же в лавку вплыла ее мать, грузная старуха из рода вождей, владелица многих земель на острове. Она протянула ему руку. Женщина эта была, конечно, толста до безобразия, однако преисполнена величия, приветлива без угодливости и при всем благодушии ни на миг не роняла своего монаршего достоинства.

— Вас совсем не видно, мистер Макинтош. Тереза только нынче утром говорила: «Мистер Макинтош что-то совсем перестал к нам заглядывать».

Он содрогнулся, вообразив себя зятем этой старой туземки. Весь остров знал, что она властно правит мужем, несмотря на его белую кровь. Она была главой и семьи и дела. Пусть белые видели в ней всего лишь миссис Джарвис, но ее отец был вождем из королевского рода, а его отец и отец его отца королями. Вошел торговец — смуглый маленький брюнет с седеющей черной бородой, красивыми глазами и сверкающими зубами. Он носил парусиновые брюки, держался истым англичанином и уснащал речь жаргонизмами. Тем не менее чувствовалось, что по-английски он говорит как иностранец; в семье он пользовался языком своей матери-туземки. Это был услужливый, подобострастный человечек.

— А, мистер Макинтош! Какой чудесный сюрприз. Подай виски, Тереза. Пропустим с мистером Макинтошем по рюмочке.

Он стал рассказывать последние городские новости, все время заглядывая гостю в глаза, чтобы не промахнуться и не сказать неприятного.

— А как Уокер? Что-то он в последнее время совсем не показывается. Миссис Джарвис собирается на этой неделе послать ему молочного поросенка.

— Я утром видела, как он на лошади ехал домой, — вставила Тереза.

— Ну, промочим глотку, — произнес Джарвис, поднимая рюмку.

Макинтош выпил. Жена и дочь торговца не спускали с него глаз, — миссис Джарвис в черном широком балахоне, безмятежная и надменная, и Тереза, спешившая улыбнуться всякий раз, как ей удавалось перехватить его взгляд. А торговец беззастенчиво пересказывал сплетни:

— В Апии говорят, что Уокеру пора на покой. Возраст. С тех пор как он приехал на острова, времена изменились, а он не изменился с ними.

— Он не знает меры, — сказала старая дочь королей. — Туземцы недовольны.

— А отличную, однако, штуку отколол он с дорогой. — Торговец засмеялся. — Я когда в Апии рассказал, все прямо животы надорвали. Нет, все же молодчина Уокер.

Макинтош смерил его свирепым взглядом. Да как он смеет так говорить? Для торговца-полукровки существует не Уокер, а мистер Уокер. Надо осадить наглеца. Но что-то, он сам не знал что, удержало его от этого.

— Когда он уйдет, надеюсь, его место займете вы, мистер Макинтош, — продолжал Джарвис. — У нас на острове вы всем по душе. Вы понимаете туземцев. Они теперь просвещенные стали, с ними надо обходиться по-иному, чем в старину. Теперь в администраторы нужен человек образованный. А Уокер, он торговец, вроде меня.

У Терезы заблестели глаза.

— Когда настанет время, что потребуется с нашей стороны, считайте, все будет сделано. Можете на меня положиться. Я сам соберу всех вождей и отправлю с петицией в Апию.

Макинтошу стало почти дурно. Ему не приходило в голову, что преемником Уокера, в случае чего, может оказаться он. Правда, никто из чиновников не знал острова лучше него. Он внезапно встал и, коротко попрощавшись, пошел обратно. Теперь он, не мешкая, направился к себе. Окинул быстрым взглядом бюро. Пошарил под бумагами.

Револьвера там не было.

Сердце у него отчаянно застучало в ребра. Он стал искать револьвер. Смотрел на креслах, в ящиках. Искал неистово, все время зная, что ничего не найдет. Внезапно раздался хриплый добродушный голос Уокера:

— Чего это вы, Мак?

Он, вздрогнув, обернулся. Уокер стоял в дверях. Макинтош безотчетно шагнул и заслонил бюро.

— Прибираетесь? — насмешливо спросил Уокер. — Я велел заложить серую в двуколку. Поеду в Тафони купаться. Давайте со мной.

— Хорошо, — ответил Макинтош.

Пока он с Уокером, ничего произойти не может. Им предстояло проехать три мили до пресного озерка, вырытого в скалистом грунте с помощью динамита и отделенного от океана узкой перемычкой. Такие места для купания администратор распорядился устроить туземцам на острове повсюду, где только ни бил источник, — пресная вода была прохладной и бодрящей по сравнению с морской, слишком теплой и словно бы липкой. Они бесшумно катили по травянистой дороге, с плеском переезжали мелкие заливчики, где океан вторгался на сушу, миновали две деревни, просторные хороводы островерхих хижин вокруг белой часовни, а за третьей вылезли из двуколки, спутали лошадь и спустились к озерку. За ними увязались несколько девушек и стайка ребятишек. И вскоре все уже с криком и смехом плескались в воде, а Уокер в лава-лава плавал, точно неповоротливый старый дельфин. Он обменивался с девушками сальными шуточками, а они для развлечения подныривали под него и ловко ускользали, когда он пытался их схватить. Утомившись, он растянулся на камне, а девушки и ребятишки окружили его, словно одна счастливая семья. Жирный старик, сиявший лысиной в оторочке седых волос, был похож на состарившееся морское божество. В его глазах Макинтош вдруг увидел непривычное мягкое выражение.

— Такие они все хорошие детишки, — сказал Уокер. — На меня смотрят как на отца.

И тут же, не переводя дух, обратился к одной из девушек с непристойностью, от которой они все так и прыснули со смеху. Макинтош стал одеваться. Сухопарый и тощий, с длинными руками и ногами, он был смешон и похож на злого Дон Кихота, и Уокер принялся грубо прохаживаться на его счет. Каждая шутка встречалась приглушенным хихиканьем. Макинтош никак не мог справиться с рубашкой. Он сознавал, что выглядит нелепо, но служить посмешищем не желал. Он не отвечал и хмурился, сдерживая бешенство.

— Если не хотите опоздать к обеду, то пора ехать.

— Вы неплохой парень, Мак. Но глупый. Делаете одно, а помышляете в это время о другом. Разве так можно жить?

Тем не менее он грузно поднялся на ноги и начал одеваться. Они, не торопясь, пошли в деревню, выпили чашу кавы с вождем, а затем под радостные прощальные возгласы всех прохлаждающихся жителей деревни поехали домой.

После обеда Уокер закурил сигару и собрался, как всегда, на вечернюю прогулку. Макинтошу вдруг стало страшно.

— Не кажется ли вам, что выходить одному в темноте сейчас не очень благоразумно?

Уокер уставился на него круглыми голубыми глазами.

— О чем это вы?

— А нож в ту ночь вы помните? Они ведь на вас злы.

— Чушь! Не посмеют.

— Кто-то посмел же.

— Это только так, попугать. Они на меня руки не подымут. Я же им как отец. Они знают: что я ни делаю — все для их же пользы.

Макинтош смотрел на него с тайным презрением. Это чудовищное самодовольство возмущало его, и все же что-то — он сам не понимал что — побуждало его настаивать:

— Вспомните сегодняшний разговор. Не прогуляетесь один вечер, вас не убудет. Давайте партию в пикет.

— Сыграем в пикет, когда я вернусь. Не родился еще тот канак, из-за которого я стану менять свои привычки.

— Ну, так давайте я пойду с вами.

— Никуда вы не пойдете.

Макинтош пожал плечами. Что же, он предостерег его как мог. Если Уокер не желает слушать, дело хозяйское.

Уокер надел шляпу и вышел. А Макинтош взялся за книгу. Но тут же ему пришла в голову одна мысль: пожалуй, лучше, чтобы его местонахождение сейчас было кому-нибудь известно. Под каким-то благовидным предлогом он зашел на кухню и несколько минут поговорил с поваром. Потом вернулся, вытащил патефон и поставил пластинку; но все время, пока из-под иглы лился чувствительный мотивчик лондонской эстрадной песенки, чутко прислушивался, не раздастся ли из темноты внезапный звук. Патефон сипел и надрывался у самого его локтя, можно даже было разобрать дурацкие слова, но несмотря на это у него было ощущение, будто его окружает глухая, зловещая тишина. Издалека доносился глухой рев прибоя, в верхушках кокосовых пальм вздыхал ветер. Долго ли еще это будет тянуться? Невыносимо!

Тут он услышал хриплый смешок.

— Ну и чудеса! Не так-то часто вы себя ублажаете песенками, Мак.

За окном стоял Уокер, краснолицый, грубый, благодушный.

— Как видите, я жив-здоров. Чего это вы развели музыку?

Он вошел в комнату.

— Нервишки расшалились, а? Поставили песенку, чтобы подбодриться?

— Я поставил ваш реквием.

— Чего-чего?

— «Кружка портера, пинта пива».

— И отличная песня, вот что я вам скажу. Могу слушать хоть сто раз подряд. А теперь давайте-ка я обыграю вас в пикет.

Сели играть. Уокер добивался победы всеми правдами и неправдами: блефовал и бахвалился, подымал противника на смех, дразнил его, стращал, вышучивал и бессовестно злорадствовал при каждом его промахе. И скоро к Макинтошу вернулось прежнее спокойствие, глядя словно со стороны, он только радовался безобразиям этого старого нахала и собственной холодной сдержанности. А где-то затаился Манума и ждал своего часа.

Уокер выигрывал партию за партией и по окончании игры, торжествуя, сгреб выигрыш.

— Вам, Мак, еще расти и расти, прежде чем со мной тягаться. У меня к картам природный талант.

— Не вижу, при чем тут талант, если я сдал вам четырнадцать тузов.

— Хорошая карта идет хорошим игрокам, — возразил Уокер. — Я и с вашими все равно бы выиграл.

И он пустился в длинные рассуждения о том, как ему случалось играть с заведомыми шулерами, и все равно он им карманы обчистил — они только рты разевали. Он хвастал, он пел себе хвалы. А Макинтош слушал и упивался. Ему нужно было теперь поддерживать в себе ненависть. Каждое слово Уокера, каждый жест делали его только еще отвратительнее. Наконец Уокер встал.

— Пора и на боковую, — сказал он, зевая во весь рот. — У меня завтра много дел.

— Каких?

— Поеду на ту сторону острова. Тронусь в пять, но к обеду, наверно, не обернусь, припоздаю.

Обедали обычно в семь.

— Так, может быть, подождать с обедом до половины восьмого?

— Пожалуй, что и так.

Макинтош смотрел, как он выбивает трубку. Примитивное жизнелюбие так и бурлило в нем. Было странно думать, что над ним нависла смерть. В холодных угрюмых глазах Макинтоша забрезжила легкая улыбка.

— Не хотите ли, чтобы я поехал с вами?

— За каким дьяволом? Я же поеду на кобыле, а с нее и меня хватит. Зачем ей еще и вас тащить тридцать миль?

— Но вы, возможно, не вполне отдаете себе отчет в том, какое настроение царит сейчас в Матауту. Мне кажется, будет спокойнее, если я поеду с вами.

Уокер разразился насмешливым хохотом.

— Много толку от вас будет в случае чего! Ну, да я не трусливого десятка.

Теперь улыбка появилась и на губах Макинтоша, они болезненно покривились.

— Quem deus vult perdere prius dementat.6

— А это еще что за тарабарщина? — спросил Уокер.

— Латынь, — отозвался ему вслед Макинтош.

И усмехнулся. Настроение у него изменилось. Он сделал все, что мог, дальнейшее в руках судьбы. Уснул он сладко, как не спал уже много недель. Утром проснулся и вышел за порог. Он хорошо выспался и радовался бодрящей утренней свежести. Океан синел ярче обычного, ослепительнее блистали небеса, пассат крепчал, и по лагуне бежала рябь, словно ветер гладил аквамариновый бархат против ворса. Макинтош чувствовал прилив молодых сил и за дневные дела взялся с удовольствием. После второго завтрака он вздремнул немножко, а под вечер приказал оседлать гнедого и неторопливо проехался по лесу. Все вокруг он словно видел новыми глазами. И чувствовал себя почти нормально. Поразительным было то, что об Уокере ему удавалось совсем не думать. Точно его и на свете никогда не было.

Вернулся он поздно, разгоряченный верховой прогулкой, и еще раз выкупался. Потом сел на веранде и, покуривая трубку, смотрел, как угасает день над лагуной. На закате лагуна, вся в розовых, лиловых и зеленоватых отблесках, была удивительно красива. Ему было хорошо и спокойно. Когда на веранду вышел повар и сказал, что обед готов, так подавать или подождать еще? — Макинтош ласково ему улыбнулся и посмотрел на часы.

— Половина восьмого. Больше ждать, пожалуй, не стоит. Кто знает, когда хозяин может вернуться.

Повар кивнул, и минуту спустя Макинтош увидел, что он идет по двору с дымящейся супницей. Он лениво поднялся, прошел в столовую, пообедал. Свершилось или нет? Неопределенность забавляла, и Макинтош засмеялся в тишине столовой. Еда казалась ему не такой уж безвкусной, и даже вечный рубленый бифштекс, которым неизменно потчевал их китаец всякий раз, как исчерпывалась его скудная кулинарная изобретательность, каким-то чудом получился сочный и пряный. После обеда Макинтош неторопливо побрел к себе взять книгу. Кругом стояло удивительное безмолвие, в черном небе уже полыхали яркие звезды. Он крикнул, чтобы принесли лампу, и несколько секунд спустя китаец, пронзая мрак лучом света, прошлепал босыми ногами к бюро, поставил на него лампу и бесшумно выскользнул из комнаты. Макинтош прирос с полу: из-под вороха бумаг на бюро выглядывал револьвер. Макинтош почувствовал мучительное сердцебиение, весь облился потом. Значит, свершилось?

Трясущейся рукой он взял револьвер. Четыре камеры в барабане были пусты. Он настороженно выглянул во тьму ночи — никого. Он быстро вложил четыре патрона в пустые камеры и запер револьвер в ящик.

Потом сел и начал ждать.

Прошел час, второй. Ничего не происходило. Он сидел за бюро и как будто писал. На самом же деле он не писал и не читал. А только слушал. Напрягая слух, он пытался уловить первые, отдаленные звуки. Наконец послышались робкие шаги — это был повар.

— А-Сун! — позвал он. Китаец подошел к двери.

— Хозяина очена поздна, — сказал он. — Обеда исполтиласа.

Макинтош смотрел на него и гадал: известно ли китайцу, что произошло? И сможет ли он, когда все станет известно, сопоставить происшедшее с отношениями, которые существовали между Уокером и им, Макинтошем? Китаец был тихий, подобострастный, улыбчивый, занимался своим делом, но поди угадай, что у него в голове.

— Наверное, он пообедал где-нибудь. Но на всякий случай суп держи горячим.

Он не успел договорить, как тишина вдруг взорвалась шумом, криками и быстрым топотом босых ног. В компаунд вбежала толпа туземцев — мужчин, женщин и детей. Они окружили Макинтоша, наперебой что-то объясняя. Понять их было невозможно. Лица у всех были взволнованные, испуганные, многие плакали. Макинтош протолкался к воротам. Хотя из их слов он почти ничего не понял, ему было совершенно ясно, что именно произошло. У ворот он встретил двуколку. Старую кобылу вел под уздцы долговязый канак, а на сиденье скорчились еще двое, поддерживая лежащего Уокера. Двуколку сопровождало десятка два туземцев.

Кобылу ввели во двор, туземцы повалили следом. Макинтош крикнул, чтобы они отошли, и двое полицейских, явившиеся бог знает откуда, принялись их яростно отталкивать. К этому времени он уже составил себе понятие о случившемся. Мальчишки, ходившие на рыбалку, возвращались домой и увидели по сю сторону брода двуколку, кобыла пощипывала траву, а между сиденьем и передком смутно белело в темноте грузное тело старика. Сначала они подумали, что он мертвецки пьян, и, посмеиваясь, подошли поближе, но услышали стоны и, сообразив, что дело неладно, кинулись в деревню за помощью. Вернулись в сопровождении полусотни человек и тогда только обнаружили, что Уокера подстрелили.

Макинтош, содрогнувшись, подумал, что, может быть, старик уже умер. Но так или иначе, его необходимо снять с двуколки, а это из-за его толщины оказалось делом нелегким. Потребовались усилия четырех мужчин. Они неловко подхватили его, и он глухо застонал. Значит, пока жив. Его внесли в дом, подняли по лестнице и уложили на кровать. Тут только Макинтош его разглядел, потому что во дворе, при тусклом свете переносных фонарей, ничего не было видно. Белые парусиновые брюки Уокера запятнала кровь, и люди, которые внесли его в спальню, тоже вытирали о свои набедренные повязки липкие окровавленные ладони. Макинтош поднял лампу. Он никак не ждал, что старик мог так побледнеть. Глаза его были закрыты. Он еще дышал, и слабый пульс прощупывался, но он, несомненно, умирал. Неожиданно для себя Макинтош ощутил, как судорога ужаса передернула его с ног до головы. Он заметил в углу туземца-клерка и хриплым от страха голосом приказал ему бежать в аптеку и принести все необходимое для инъекции. Один полицейский принес виски, и Макинтошу удалось влить несколько капель в рот старика. В спальню набились туземцы. Они сидели на полу, храня от испуга молчание, и лишь изредка прерывали его причитаниями. Было нестерпимо жарко, но Макинтоша пробирал холодный озноб, руки и ноги у него оледенели, и он с большим трудом сдерживал дрожь во всем теле. Он не знал, что делать. Он не знал, продолжается ли кровотечение, и да, то как его остановить.

Вернулся клерк со шприцем.

— Сделайте вы, — сказал Макинтош. — Вам это привычнее, чем мне.

Голова у него разламывалась от боли. В мозгу словно бились какие-то злобные существа и старались вырваться наружу. Теперь надо было ждать, подействует ли инъекция. Вскоре Уокер медленно открыл глаза. Возможно, с понимал, где находится.

— Вам не следует шевелиться, — сказал Макинтош. — Вы дома. В полной безопасности.

Губы Уокера дрогнули в легком подобии улыбки.

— Они-таки меня прикончили, — прошептал он.

— Я распоряжусь, чтобы Джарвис немедленно послал свой катер в Апию, и завтра после обеда врач будет здесь.

Старик долго молчал, а потом произнес:

— Я к тому времени уже умру.

Бледное лицо Макинтоша мучительно исказилось. Он заставил себя рассмеяться.

— Ерунда! Только лежите смирно, и все будет в порядке.

— Дайте мне выпить, — сказал Уокер. — Покрепче.

Трясущейся рукой Макинтош налил виски, разбавил наполовину водой и придерживал стакан, пока Уокер жадно пил. Ему словно сразу полегчало. Из груди вырвался глубокий вздох, крупное мясистое лицо немного порозовело. Макинтоша давило ощущение полной беспомощности. Он стоял и смотрел на старика.

— Скажите, что надо сделать, и я сделаю, — пробормотал он.

— Делать-то нечего. Оставьте меня лежать, и все. Со мной кончено.

Этот толстый, оплывший старик на огромной кровати выглядел необыкновенно жалким. Он был так слаб, так беззащитен, что прямо сердце сжималось. После передышки сознание у него немного прояснилось.

— Вы были правы, Мак, — проговорил он, помолчав. — Вы ведь меня предупреждали.

— Надо было мне с вами поехать!

— Хороший вы парень, Мак. Только вот не пьете.

Снова оба помолчали, было очевидно, что Уокер быстро слабеет. Внутреннее кровотечение продолжалось, и даже Макинтош, при всем своем невежестве, понимал, что его начальнику остается жить какой-то час или два. Он неподвижно стоял у кровати. Уокер около получаса пролежал с закрытыми глазами, потом поднял веки.

— На мое место они вас назначат, — медленно проговорил он. — Когда я последний раз был в Апии, я там сказал, что вы годитесь. Достройте мою дорогу. Мне хочется знать, что она будет доделана. Вокруг всего острова.

— Мне ваше место не нужно. И вы обязательно поправитесь.

Уокер слабо покачал головой.

— Я свое отжил. Обходитесь с ними по-честному, это главное. Они же как дети. Всегда про это помните. С ними надо быть твердым, но и добрым тоже. И обязательно справедливым. Я на них ни единого шиллинга не нажил. За двадцать лет не скопил и ста фунтов. Дорога — вот что важно. Достройте дорогу.

У Макинтоша вырвалось что-то вроде рыдания.

— Хороший вы человек, Мак. Вы мне всегда нравились.

Он закрыл глаза, и Макинтош подумал, что больше он их уже, наверно, не откроет. Ужасно хотелось пить, во рту пересохло. Повар-китаец безмолвно подставил ему стул. Он сел рядом с кроватью. Сколько времени так прошло, он не знал. Ночь тянулась нескончаемо. Кто-то из сидевших на полу вдруг по-детски, в голос заплакал, и Макинтош, оглянувшись, увидел, что спальня полна туземцев. Они сидели на корточках, бок о бок, мужчины и женщины, не сводя глаз с кровати.

— Зачем они здесь? — проговорил Макинтош. — У них нет никакого права тут быть. Выгоните их, выгоните их всех до единого.

Его распоряжение, как видно, разбудило Уокера — он снова открыл глаза, теперь совсем мутные, и попытался заговорить. Но сил у него уже почти не было, Макинтош с трудом разбирал слова.

— Пусть останутся. Они мои дети. Их место тут.

Макинтош обернулся к туземцам.

— Останьтесь. Он хочет, чтобы вы были тут. Но молчите.

Бескровное лицо старика тронула легкая улыбка.

— Поближе, — позвал он.

Макинтош нагнулся к нему. Его глаза были закрыты, слова прошелестели, как ветер в листьях кокосовой пальмы.

— Дайте мне еще выпить. Мне надо сказать.

На этот раз Макинтош не стал разбавлять виски водой.

Уокер последним напряжением воли собрался с силами.

— Не устраивайте шума. В девяносто пятом во время волнений убили белых, и военные корабли обстреляли деревни. Погибло много ни в чем не повинных людей. В Апии они все дураки. Если поднять шум, наказание понесут не те. Я хочу, чтобы никого не наказывали.

Он умолк, переводя дух.

— Вы скажете, что это был несчастный случай. И никто не виноват. Обещайте.

— Я сделаю все, как вы хотите, — прошептал Макинтош.

— Молодчина. Такого второго поискать. Они же дети. Я их отец. А отец никогда не даст своих детей в обиду.

Он издал что-то вроде слабого призрачного смешка.

— Вы ведь верующий, Мак. Как там сказано насчет прощения? Ну, вы знаете.

Макинтош ответил не сразу. У него дрожали губы.

— «Прости им, ибо не ведают, что творят»?

— Вот-вот. Прости им. Я же их любил, вы знаете. Всегда любил.

Он вздохнул. Его губы еле шевелились, и Макинтошу пришлось почти прижаться к ним ухом, чтобы расслышать.

— Возьмите меня за руку, — попросил Уокер.

Макинтош охнул. Сердце у него невыносимо сжалось. Он взял руку старика, такую холодную и слабую — грубую, мозолистую руку, и так сидел и держал ее, покуда вдруг тишину не нарушил протяжный клокочущий хрип. Жуткий, пугающий. Уокер умер. Туземцы разразились причитаниями. По щекам у них бежали слезы, они рыдали и били себя в грудь.

Макинтош высвободил руку из пальцев мертвеца и пошатываясь вышел, как человек, одурманенный сном. Он добрел до своего бюро, достал из ящика револьвер, спустился к лагуне и вошел в воду. Он брел осторожно, чтобы не споткнуться о коралловый выступ, пока не погрузился по плечи. Тогда он выстрелил себе в висок.

Час спустя на том месте, где он упал, плескались и пенили воду гибкие коричневые акулы.